

Ю. КАПУСТО

**ТЕЧЕНИЕ
ЖИЗНИ**

Ю. КАПУСТО

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

ПОВЕСТЬ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1987

Капусто Ю. Б.

К 20 Течение жизни: Повесть.— М.: Советский писатель, 1987.— 304 с.

Новая книга Ю. Капусто «Течение жизни» — исповедь человека того поколения, которое пришло в жизнь в годы гражданской войны, приняло на свои плечи тяжесть Отечественной войны и вернулось с фронта с готовностью снова быть на переднем крае жизни. Куда бы ни закинула судьба героя повести после войны, он везде сталкивается с теми проблемами, решения которых мы ищем сегодня.

4702010200—015

К ————— **58—86**
083(02)—87

ББК 84. Р7

Юлия Борисовна Капусто

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

М., «Советский писатель» 1987, 304 стр
План выпуска 1986 г № 58

Художник **М Ф ЛОХМАНОВА**

Редактор **М В Иванова** Худож редактор **Е И Балашева** Техн редактор **Н Н Талько**
Корректоры **М Б Шварц** и **С И Крягина**

ИБ № 5359

Сдано в набор 21.05.86 Подписано к печати 13.01.87 А 08906 Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип № 2 Литературная гарнитура Офсетная печать Усл печ л 15,96 Уч-
изд л 16,55 Тираж 30 000 экз Заказ № 344 Цена 1 р 10 к

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул Воровского 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600 г Тула, проспект Ленина, 109

© Издательство «Советский писатель», 1987 г.

Евгению Николаевичу Герасимову — Жене

Это было
с бойцами
или страной,
или
в сердце
было
в моем.

В. Маяковский

Время уже настигает — ему неподвластна душа, и по сути ты все такой же, как прежде, но с какого-то дня вдруг начинаешь чувствовать, что состоишь из отдельных частей, вдруг узнаешь, что у тебя есть руки и ноги, или вдруг слышишь, как совершает свой неустанный труд твое сердце, которое до этой поры свое дело делало молча. А то даже слышишь и более сокровенное, тайное — как твоя кровь идет по твоим же сосудам, тем самым, которые питают твой мозг, твою мысль.

Время уже настагает, а ты даже и не приступил еще к главному. Где же ты был? Что делал ты до сих пор? Ездил в командировки, брал интервью, изучал, как растят хлеб и возводят плотины, слушал других людей, старался понять их, увидеть мир их глазами, представить, что у них на душе, пытался что-то сказать и изобразить за других, и только одного ты не трогал, к одному только не прикасался — к тому, что происходит в тебе самом, с тобою самим, с теми, кто рядом с тобой и кто для тебя еще больше «ты», чем ты сам. А ведь только этого за тебя никому не сделать, только в этом тебе нет равных.

Уже начинает бить по тому квадрату, в который ты помещен: вдруг внезапно уходит из жизни твой товарищ, ровесник, уходит мгновенно, на полном ходу, даже на полном лету, а за ним и второй, и третий, и даже четвертый... А тебе все еще кажется, что это случайности, что это — шальные пули.

Тебе все еще кажется, что не мерено время, которое впереди, что впереди бесконечность, и когда твои сверст-

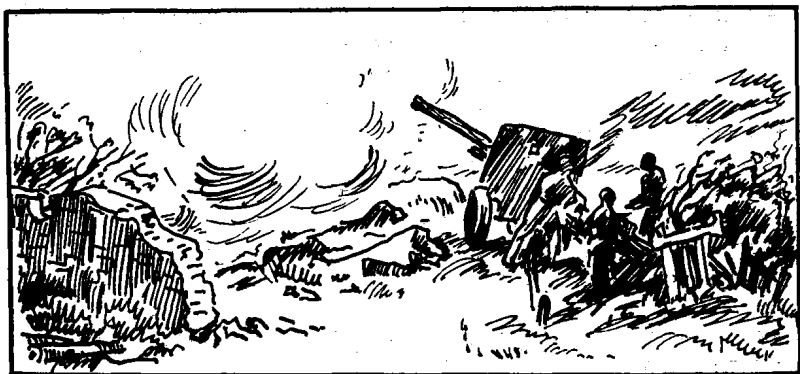
ники начинают писать, что пора собираться, тебе еще кажется, что это игра.

Но в какой-то момент мгновенная вспышка молнии проясняет тебе обстановку: тебе еще только нужно начать и долог твой путь, а Оно уже движется, и бесконечность перед тобой исчезает. Кто же быстрее? Оно или ты?

Должно быть, эта внезапная трезвость нужна, чтобы не откладывать, чтобы начать сегодня.

Я начинаю, но мне далеко, и спешить мне нельзя, и эту впервые обретенную трезвость я тут же откину — больше она не нужна; чтобы сделать то, что мне должно, нужна бесконечность, и нисколько не меньше.

Как будто бы это рядом, это в тебе, за этим не надо ехать в командировку, а поди подступись, попробуй взломать замки, попробуй найди калитку, хотя бы только лазейку к себе самому. А порою думаешь: да и есть ли это — то, что зовется тобою самим? Не выйдя в слово, ты для себя как бы не существуешь...



Часть первая

1

Эвакогоспиталь, расположенный уже в далеком тылу. В четвертый раз меня берут в холодящую своей белизной операционную комнату. Меня оторвали от рукописи, которую я строчу, лежа на больничной кровати. Но полностью меня оторвать от работы не под силу хирургу. Я продолжаю ее на операционном столе — без бумаги, без ручки — голосом.

Операция идет под местным наркозом, и я рассказываю Наталии Александровне Делла-Вос, которая меня оперирует, чем будет занята следующая страница. Это ей не мешает, вряд ли она слышит то, что я говорю, зато я над волнением, какое переживает человек на столе, и это помогает тому, что делает Наталия Александровна — мастер, красавица полуиспанка, теперь мой друг.

Я пишу, думая, что книга — о пережитом мной на войне. В какой-то мере это действительно так. Но в какой?

Между мною и книгой вовсе не то, чем я больна, вовсе не нож, входящий в меня. Между мной и книгой всегда будет нечто разное в разное время. В тот первый раз это то, чем наполнен воздух, то, что написано к этому времени о войне, нечто заготовленное, заданное, как аксиома. Страницами я прорываюсь сквозь этот стандарт к себе, страницами он загораживает меня от себя.

Наверное, человек начинается с той минуты, когда он отделяет себя от того, что его окружает. Когда мне довелось обозначить собственные границы?

Должно быть, это началось с того ясного голубого летнего дня, идущего к склону — было часов уже пять, — когда небо еще стоит высокое и далекое. Я сидела одна на бревне во дворе дедушкиного дома в Иркутске, на Баснинской улице, и, глядя в небо, по которому шли белые облака, без конца повторяла то, что мне о себе было известно: «Мне три года. У меня нет папы. Я не вижу правым глазом. Я не верю в бога. Мне три года...» И так без конца.

Все, о чем я говорила, было действительно правдой. Отец мой умер за год до этого, в двадцать первом году. У него был порок сердца, и он не должен был идти на эпидемию сыпняка, но пошел, так же как мама, — оба они были молодые врачи.

Гибель отца как утрату я начала чувствовать позже, наверное лет семи, когда на улице смотрела вслед детям, идущим между отцом и матерью. Мне казалось это несбыточным чудом — так вот идти, чтобы одну твою руку держала мать, а другую — отец и чтобы ты шел между обоими... Такого не было в моей жизни.

Пока же тот факт, что у меня нет отца, воспринимался как нечто, отличающее меня от других, и потому как предмет гордости: да, очевидно, первое осознание себя личностью означает необходимость отделить себя от всего, что — не я.

Таким же предметом гордости было и то, что я не видела правым глазом. Действительно, я не видела им, и нужно сказать, что в жизни мне это до сих пор не мешало, пока же я просто ликовала по поводу такого персонального атрибута.

Что же касается неверия в бога, то это, пожалуй, меньше всего принадлежало именно мне: это принадле-

жало времени, а мною было воспринято как нечто готовое, данное, это тоже было по сути верой.

Так я сидела верхом на бревне и, подняв голову вверх, сообщала небу всё, что мне о себе известно.

Надо мной проплывали высокие, пухлые облака. И вдруг это случилось: из-за облака выглянул бог, сам бог, в белой рубашке, такой же белой, как облака, и погрозил мне своей белой рукой.

Мне стало страшно. Соскочив с бревна, я побежала в укрытие, — ближайшим укрытием оказался флигель, в котором жила девочка Лёнка, обладательница больших и маленьких красно-синих мячей — их в бесконечном количестве присылали Лёнкиному отцу из Москвы, — как я поняла позже, не только ради этой противной Лёнки (конечно, в моем тогдашнем сознании не было таких понятий, как «нэпманы», «спекуляция», но в памяти ребенка откладывается больше, чем он в состоянии осознать, — проявление удержанных памятью фактов такой же процесс, как проявление негативов).

Я захлопнула за собою дверь и какое-то время стояла в чужих сенях. Боролись страх и любопытство. Когда брало верх любопытство, я приоткрывала дверь и смотрела на облако. Бог высовывался из-за облака и грозил мне своим белым облачным пальцем. Охваченная страхом, я захлопывала дверь и мучилась любопытством: может быть, он ушел? Но бог никуда не уходил. Я стояла и думала: как же так, я не верю в него, как сказала мама, а вижу его; его нет, а он мне грозит.

Порою мелькала мысль, что нужно перед ним извиниться, сказать, что теперь я в него верю, но я не могла заставить себя это сделать. Я все равно не верила: не верила факту. Сильнее факта была моя вера: вера в собственное неверие.

Бог наконец исчез.

Не то же ли самое повторилось со мной через двадцать лет, во время войны, когда в Спас-Деменском госпитале у моего изголовья всю ночь простояла безногая смерть с косой за плечами, в которую я не поверила?

Всю ночь мне было трудно дышать, я кого-то звала, но подойти было некому. К госпиталю то и дело подвозили носилки, на которых лежали раненые. Госпиталь захлебывался, с поступлением не справлялись — все санитарки, сестры, врачи были на разгрузке подходящих машин, на сортировке. И тогда в темноту школьного класса

вплыла беловато-серая тень и встала справа у койки, где я лежала. Я вгляделась в нее и поняла, что тень похожа на смерть с косой за плечами, такую, какая была нарисована в книжке народных сказок, — в детстве эту страницу, как и страницу о Кощее Бессмертном, я старалась быстрее перелистнуть — было не то что страшно, но неприятно.

Страшно не было и теперь. Я говорила себе: «Ерунда, не верю же я в привидения» — и крепко закрывала глаза, надеясь, что стоит их снова раскрыть, и тени не будет.

Но когда я раскрывала глаза, беловато-серая тень с косой за плечами, с безносым лицом стояла на том же месте.

Я удивлялась и опять закрывала глаза. Я понимала, что мне это к а ж е т с я. Потом темнота за окошком стала редеть, и когда темная — почти черная — ночь превратилась в серый рассвет, смерть растаяла в нем, сравнялась с тем, что меня окружало.

В этом случае заданность мне помогла.

Мою встречу с богом я прибавила к тому, что мне о себе было известно: «Я видела бога, но все равно в него не поверила». Это было еще одним атрибутом, отличающим лично меня: никто из ребят, живущих в нашем дворе, бога не видел, хотя кое-кто и верил в него.

Мне хотелось, чтобы мое отличие от других признавалось другими. Но когда я раскачалась вовсю на качелях и взлетела вровень с верхнею балкой, что, по моему мнению, должно было поразить дворовых ребят, Люся Кирпичникова из двухэтажного флигеля, стоявшего за флигелем Лёнки, вынесла во двор большую новую куклу, и кукла отвлекла внимание ребят от того, что я совершила.

Тогда я грохнулась с самого верха на землю, и этого тоже никто не заметил. Только отчаянным криком, совсем не от боли, а от обиды, я отвлекла внимание от куклы-соперницы.

Повторилось со мной это и позже. Я шла по улице в детсадовском строю — уже не в Иркутске, в Ташкенте, и радовалась, что на мне красная шапочка, присланная из Москвы: когда я в такой шапочке, меня не спутать с другими.

Такое чувство, наверное, бывает, пока человек не дорастет до недовольства собой.

К пятому классу, а может и раньше, я уже знала, что другие многое делают лучше, чем я: лучше бегают, прыгают, лучше ходят на лыжах, смелее смеются, увереннее идут по земле. То, что было моей силой, я не ставила теперь ни во что и одного только хотела — походить на других, быть как все.

Иногда это чувство полезно, а иногда — нет.

И на войну я пошла отчасти для того, чтобы быть как все, чтобы разделить ту судьбу, которая становилась общей судьбой. И никогда мне так не хотелось, чтобы у меня было всё, как у всех, как в тот день, когда у меня родился ребенок...

Но когда я писала первую книгу, я тоже хотела, чтобы она была как все книги, которые мне тогда нравились. Это стремление встало между мною как автором и мною как человеком; человек усреднился, почти потерялся.

2

Так где начинаюсь я?

Там, на бревне, где я сообщаю небу все, что мне о себе известно? Да, наверное, там.

Но до этого тоже было уже кое-что.

Раннее детство — всегда островки, высвеченные из забвения прожектором памяти.

Первый такой островок для меня — комната с источником света в центре. Это керосиновая лампа, а может, свеча на столе. Света хватает только на стол, а дальше комната утопает в густом полумраке, который к стенам, а еще больше к углам сгущается до полного мрака.

Углы комнаты от этого кажутся круглыми. Эти комнатные углы, кругло затаившиеся в густой темноте, долго еще будут сопровождать мое детство — до самой школы.

В одном из таких темно-черных углов высится куль, до краев набитый кедровым орешком.

В комнате, кроме меня, мама, отец и веселые Адька-Катка, как их называют — молодожены, тоже молодые врачи, но я сама должна дойти до куля.

Я делаю шаг от стола, от света, преодолеваю себя (это первое преодоление, потому я его помню), делаю шаг в темноту, еще один шаг, потом срываюсь и бегом мчусь в черный угол к кулю, который много выше меня, совсем окунаюсь в полную черноту угла, привстаю на

цыпочках, хватаю с поверхности горсть орешков, поворачиваюсь в сторону света и бегу обратно, крепко зажав орешки.

Все смеются и хвалят меня.

Это то, что я помню.

Но эта комната и то, что вокруг нее, полнится преданиями, оставшимися в семье, тем, что я знаю о себе понаслышке.

Сюда, в Жигалово, меня везут по Якутскому тракту в телеге. Я черная от пыли, от перегрева, от голода — я давно уже, чуть ли не от начала, без материнского молока, а вокруг ничего не продается, вокруг только что был Колчак, от которого до этого мама и папа бегут, пересекая Байкал на лодке, вместе со мной, еще не рожденной.

Папу укачивает от шторма, он лежит неподвижно на днище. Когда мама выходила замуж за папу, ей говорили: «Он не жилец. Будешь вдовой».

Мама гребет вместе с лодочником, я ей ничуть не мешаю. Можно переждать шторм на ближайшем острове, но там лепрозорий — страна прокаженных. Нет, все дальше и дальше, сквозь один вал взгромоздившегося Байкала на другой, то на гребень волны, то вместе с волной вниз, от восточной оконечности этого озера-моря к его западному углу, к убегающей от него Ангаре, к родному Иркутску. И уж только потом, милостиво дав мне родиться, меня везут по Якутскому тракту в Жигалово.

От перегрева, от голода, от тряски телеги меня бьют «младенческие»; целых три дня мое маленькое, черное от пыли тело бьют судороги, перед которыми бесильны два молодых врача. Непонятно, почему я выживаю.

А в Жигалове — советская власть. В Жигалове в доме богатого мужика открывают медпункт. Одну комнату у мужика забирают для приема больных, в другую переселяют нашу семью.

Мужик обозлен, что именно у него отхватили полдома. Со злости он выносит из дома все, что там было, кроме стола — слишком тяжел. Нам бросают на пол дерюгу, и так мы трое спим на полу. Потом мне сбивают деревянную кровать из досок.

Прием больных родители ведут за стеной. Чтобы я не упала с кровати, меня усаживают на дерюгу, усте-

ленную детским одеяльцем, и привязывают кушаком к ножке кровати.

Сначала я не чувствую пределов своей свободы и спокойно играю деревяшками на дерюге. Потом жесткий предел дает себя знать. Мне уже тесно в границах, определенных кушаком, я стремлюсь за дерюгу, на простор некрашеного дощатого пола. Кушак натягивается, не пускает меня, больно врезается мне в лодыжки.

Я подымаю крик, но мои родители стоически ведут свой прием, пока не теряют терпения пациенты — они отсылают то одного, то другого успокоить ребенка.

Но папа еще и санитарный инспектор; он выезжает в Бодайбо, где золотые прииски. Мама остается одна, и она все же должна вести прием, сколько бы я ни кричала, ни воевала с кушаком, который оставили мне за няньку, сколько бы я ни билась головой о ненавистную мне ножку кровати.

Ночью в дом резко стучат, а в комнату уже без всякого стука врываются двое. Эти двое — молодые парни в красных рубахах, при них наганы.

Они называют себя красными комиссарами, требуют, чтобы мама ехала с ними за сорок верст принимать трудные роды. Мама говорит, что не может оставить больного ребенка, — я действительно простудилась на полу в войне с кушаком, у меня поднимается жар.

Маму ставят к стене, на нее наводят наганы, грозят сейчас же ее пристрелить, если она не подчинится приказу.

Верно ли, что они красные комиссары? Сомневаюсь, но не маме решать этот вопрос. Она торопливо обвязывает кроватку веревками сверху донизу, чтобы я не вылезла и не упала, идет за этими двумя, назвавшими себя комиссарами, скорее всего бандитами, садится в сани, и ее куда-то везут.

В избе, куда ее доставляют, в родовых муках корчится женщина. Мама осматривает ее и ставит диагноз: неправильное положение плода. Но что с этим делать? Есть какой-то прием — мама не помнит его, гинекологию мама знает хуже других предметов, в студенческие годы она девически-инфантильна, и этот неэстетичный предмет отталкивает ее.

Мама говорит, что ей нужно ехать домой за инстру-

ментами. Какие там инструменты! У нее ничего необходимого в этом случае нет. Ей нужно порыться в учебниках, которые она привезла с собою сюда. Ее привозят домой. Она лихорадочно, под неукоснительным наблюдением этих двоих перебирает книги, тетради, конечно, не находит ответа, для вида берет какие-то инструменты, не имеющие отношения к делу, мысленно прощается со мной и с жизнью и обреченно идет к саням; эти двое торопят ее. Благо я в это время сплю.

Мне тогда повезло — я до сих пор живу со своей мамой, которой идет уже десятый десяток. В избе маму встречает бабка-знахарка, морщинистая старушка с маленькими насмешливыми глазками, которыми она пробуравливает до дна мою бедную маму. Ребенок рожден. Бабка показывает маме на женщине, что она сделала: она поднимает к груди и опускает живот, опять поднимает и опускает. Мама вспоминает: приём Крэдэ! Бабка, конечно, не знает такого термина, этот прием демонстрировали на лекции в Цюрихе.

Парни с наганами — да нет, какие они комиссары; один из них как будто отец родившегося ребенка — на радостях отпускают маму восвояси. Правда, ей, посрамленной, приходится возвращаться уже пешком. Где-то ее подвозят на попутных санях.

Она застаёт меня в отчаянной схватке с кроваткой-тюрьмой, я бьюсь головой о ее деревянные стенки.

Что решило — война ли с кроваткой или с ножкой кроватки, но скоро обнаруживается то, чем на первой поре жизни я буду гордиться: мой правый глаз не видит.

«Травматическая катаракта» — таков диагноз, таков приговор моему якутскому детству.

Странно, это хранилось уже в моей памяти, когда у меня появился сын, но так было задвинуто вглубь многим, пережитым потом, что, пока он рос, мне ни разу не довелось вспомнить об этом.

Я с удивлением, с завистью смотрела на нашу соседку, на всех остальных, кто так счастливо просто относился к детям, к материнству, так хотела на них походить — их простота казалась мне недостижимой тайной, — а ни разу не заглянула в память о собственном детстве. Так получается, что дальше всего идти до себя самого.

Но еще более странно другое: в войну, в скитания по

деревням, по селам, по стройкам, я ринулась как книжная девочка, прыгнувшая вдруг из заоблачного мира абстракций на землю, в самую жизнь.

И когда я с усердием изучала эту настоящую жизнь, перед которой испытывала интеллигентское преклонение, я ни разу не вспомнила, что сама начиналась вовсе не в облаках, а на самой земле, в самой что ни на есть грубой и жесткой жизни.

Не знаю, может быть, эта жесткая жизнь, с которой начинается мое детство, так бесследно проходит мимо меня потому, что то, что ей предшествовало, все же относится к сфере заоблачных далей? Эти дали всегда вместе с мамой, а я с нею живу, значит — вместе со мной.

Жили в Иркутске — дом против дома — две большие семьи. В одной рождались одни сыновья, отчаянные, шумные головорезы, в другой — только невесты. Подростала очередная пара — начинался юношеский роман-игра.

Лишь один мальчик из первого дома и одна девочка из второго окажутся вне контакта двух этих семей.

Мой будущий папа не участвовал ни в драках своих братьев, ни в их романах, он целыми днями читал, но если требовалось справедливо решить спорный вопрос, двое заспоривших на суд шли к нему.

Моя будущая мама целые дни просиживала под обеденным столом, защищенная от внешнего мира краями большой кремовой скатерти. В этом убежище она тоже читала.

Они почти не знали друг друга.

Когда пришла пора высшего образования, и того и другого послали в Швейцарию — так было принято в те времена.

Однажды они одновременно — не зная об этом — взбирались на Пилатус, чтобы там встретить рассвет; каждый — со своими друзьями, своею тропой. Когда занимался рассвет, они с разных сторон поднялись на Пилатус, и один увидел другого. Потом они вместе обошли всю Швейцарию, вместе увидели ее горы, водопады, озера.

Как же после такого небесного неба было им на той жесткой земле? Как они справились с ней?

Да, это, пожалуй, мама увела меня от моего земного

начала, и потом мне снова пришлось прокладывать путь к земле. На это ушла вся жизнь, и в каком-то смысле ее не хватило на это.

После маминой неудачной поездки на роды из Бодайбо вернулся мой папа, потом на медпункте появились веселые Адька-Катька, и стало совсем хорошо.

Они тоже спали на дерюге, в той же комнате, что и мы, только в другом углу.

Через год мы уже снова были в Иркутске, в доме дедки и бабки, родителей папы.

От живого, здорового папы у меня только одно зрительное воспоминание: белые, незагорелые ноги, широко расставленные в неглубокой быстрой речушке, что течет мимо деревни, недалеко от Иркутска. Босые мальчишки в рубахах навывпуск торгуют на берегу черемухой. Папа держит меня на руках, то посылает навстречу бегущей прямо на меня серебристой воде, то отводит назад, меж своих ног, опять вперед и опять назад — так бабушка полоскала белье на Ангаре, но это уже было позже.

А потом папа лежит в постели, в углу комнаты, наполненной сухим солнечным днем — это иркутский октябрь, — и просит, чтобы меня показали ему. Меня подносят к его кровати, лица его я не запоминаю. Помню большую измятую подушку. Помню маму, которая без конца моет пол в папиной комнате, хотя какое это имеет значение?

Все знают, что он обречен, каким-то образом знаю это и я.

3

После того как из-за облака появляется бог и грозит мне своим белым пальцем, я отказываюсь от прямых переговоров с небом. Я стою перед зеркалом в белой кофточке в розовую полоску, в синей юбочке в складку и уже не небу, не богу, а лично себе, точно отражающейся в зеркале, сообщаю, что у меня нет папы, что мне три года, что я в бога не верю. Все же не верю, хотя и видела его своими глазами.

Девочка, которая смотрит из зеркала на меня, подстрижена чуть ли не наголо в знак пережитого мамой, в знак ее ужаса перед сыпным тифом.

Мама не захочет, чтобы у меня был отчим, чтобы у нее

были другие дети, которые имеют родного отца, когда я его не имею. Она сохранит верность папиной памяти, и лишь однажды сердце ее встрепенется.

В Ташкент, куда мы переехали через несколько лет, приехал Московский театр Революции. Мама и Верочка, мамина сестра, в ту пору жившая с нами, пошли на спектакль «Озеро Люль».

Прямо перед собой, ниже на ряд, они одновременно увидели папу, точно такого, каким он был, когда жил, точно в такой же темной пелерине, какую носили мужчины его времени, до революции, и он в том числе, с волнистыми каштановыми волосами, какие были у папы.

Он мягко шутил с двумя дамами, сидящими по обе стороны от него, как это делал папа.

После спектакля мама и Верочка пошли по улице вслед за ним и за этими дамами, — он шел в точности так, как ходил когда-то мой папа.

Они не осмелились окликнуть его.

На следующий вечер в какой-то странной надежде они снова оказались на гастролях московского театра — играли «Человека с ружьем».

И снова на том же месте, опять перед ними, сидел Он, человек, ничем не отличающийся от моего отца. И те же спутницы были с ним.

Все повторилось снова.

Почему же мама и Верочка не обратились к нему?

Но что можно было ему сказать?

А папа всем, кто его знал — не только маме, — казался единственным, ни на кого не похожим, неповторимым.

Нет, у природы все же серийное производство, многообразие жизни не бесконечно, оно имеет предел. Чем дольше живешь, тем больше убеждаешься в этом.

А я все свое детство буду вглядываться в каждого умного мальчика и думать, не родился ли в нем заново папа, и присущий каждому человеческому существу интерес к представителям противоположного пола будет у меня облекаться в поиски папы, который должен где-то начать свою жизнь, который не может исчезнуть бесследно.

Пусть я считаю, что я в бога не верю, бессмертие папы для меня тоже аксиоматический факт. Только бы не пропустить его.

После того как не стало папы, мое сибирское детство разорвано между буржуйским домом дедки и бабки с папиной стороны и пролетарским бытом моей мамы — вдовы, врача, которую безработица тех времен забрасывала то в Читу, то в Верхнеудинск.

Дедушкин дом — это дом с огромной столовой, с гостиной, с большим коридором, по обе стороны которого двери в комнаты, с тенистым сыровато-таинственным садом за домом, где в глубине притаились глухая беседка и темный гулкий колодец, из которого воду почему-то не брали. По утрам в том краю сада, который был ближе к дому, на травинках играли с солнцем капли росы.

Дедушкин дом — это и флигель справа от сада, где жила противная Лёнка с ее множеством красно-синих мячей из Москвы, и дальше еще один флигель в два этажа, где у Люси Кирпичниковой — огромная кукла с закрывающимися глазами.

Дедушкин дом — это еще и большое пространство между домом и воротами, где зимой ледяная гора, а летом — грядки. И в этом огромном доме, где живет много людей, главное — я, маленькая девочка, у которой сыпняк отнял отца, девочка, которую жалеют и дед и бабка и которой по этой причине внушают, что все, что вокруг нее, — это ее: и дом, и подполье под домом, и постройки вокруг, и концертный рояль в гостиной.

Как же после этого не грохнуться с высоты взлетевших качелей и не закричать на весь двор от ревности к кукле Люси Кирпичниковой, которая вдруг заняла собой всю ребятню двора?

И как после этого не швырнуть с высоты дядиного плеча собственную, только что полученную куклу тоже с закрывающимися глазами?

Эту куклу вместе с примусом бабушке, что в ту пору было новинкой, привез из Москвы мой дядя, папин брат Миша, от которого пахло столичным одеколоном.

Я убегала от этого запаха по коридору, а Миша, не понимая меня, бежал с куклой за мной.

Сначала меня догнал этот терпкий запах, а после и Миша (в ту пору взрослых звали без родственных титулов). Он крепко схватил меня, поцеловал, поднял себе на плечо и сунул мне в руки куклу — она была почти что с меня. Тут и низверглась эта несчастная фарфо-